

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЫТИЯ В ПОВЕСТИ Ф. РЕШЕТНИКОВА «ПОДЛИПОВЦЫ»

Решетников справедливо вошел в историю русской литературы как первооткрыватель «народного реализма» (Шелгунов), мира «пермских трущоб», «петербургских подвалов», «рабочих балаганов», который «сам на своих плечах вынес все тяготы народной жизни и, говоря о страданиях бедных труженников, не только о них плакал, но плакал с ними». ¹ С именем Решетникова традиционно связывается прежде всего повесть «Подлиповцы», которая значительно отличается от остального литературного наследия писателя – романов «Глумовы», «Где лучше», «Горнорабочие», повести «Ставленник». Это связано не только с удивительной целостностью произведения, злободневностью его тематики, четкой композиционной выстроенностью текста, колоритными образами главных героев, но и с глубокой мифологической символикой «Подлиповцев», позволяющей говорить о существовании мифологической модели бытия в повести.

Эта мифологическая модель бытия ни в коей мере не противоречит этнографическому началу повествования, проявляющего себя, как справедливо отметила Ю. М. Проскурина, не только как «признак очеркового жанра, а как свойство стиля». ² Более того, именно тесное взаимодействие собственно этнографического и мифологического планов в повести позволяет использовать применительно к мифологической модели мира в «Подлиповцах» термин месторазвитие, предложенный Ю. Барабашем для осмысления взаимодействия и взаимосвязи этноса и хронотопа в творчестве Н. Гоголя на примере украинского материала. У Решетникова в качестве «этноса» выступает этнография коми-пермяцкого края, Предуралья, испытывавшая на себе большое влияние общей мифологической символики произведения, в частности, его мифологического хронотопа.

В качестве исследуемого материала рассмотрим вначале «месторазвитие» Подлиповки, малой родины основных героев повести. Подлиповка изначально выступает в роли своеобразной маргинальной зоны, негативно маркированного царства «вечной зимы» и «вечного сна», что соответствует ее географическому положению на севере Чудиновской волости, Чердынского уезда. Расположенная по левую сторону от дороги, окруженная со всех сторон высоким и густым лесом, который подлиповцы почти не используют для хозяйственных нужд, лишенная дорог и прямых путей сообщения с внешним миром, Подлиповка является идеальным топосом, сконцентрировавшим в себе все элементы мифологической архаики. Эта мифологическая архаика проявляется прежде всего в активном языческом сознании ее жителей, предпочитающих поклоняться

172

чучелам (фетишам), солнцу, луне, дождю, снегу, молнии, чем верить в христианского бога. Принципиально важно, что подлиповцев при всей их социальной аморфности, лености, непрактичности традиционно считают колдунами, которые могут «килы садить» и даже убивать неугодных им людей. Этот страх прекрасно используется героями повести при их первом приезде в город, когда апатичная и хворая Матрена неожиданно превращается в сознании крестьян на постоялом дворе в ведьму, вылетающую в трубу на помеле. Для сознания подлиповцев характерен также зооморфный фетишизм, первобытный синкретизм мышления, проявляющий себя в абсолютном стирании границ между человеческим и животными мирами, отождествлении себя с животным миром. Так, в Подлиповке «даже лошади, коровы и свиньи ходят как-то сонно», «подлиповцы живут по-своему, как живут: ведь растет же дерево, живут же лошади и коровы», с маленькими детьми в Подлиповке «обращаются как люди с котятками», лишившись Апроськи, Сысойко «походил на собаку, лишившуюся своего детища», для Матрены, жены Пилы, «корова... была больше, нежели дети». Особое место среди зооморфных символов Подлиповки занимает образ медведя. Охотниками на медведей были отец Сысойки и сам Сысойка. Пила постоянно хвастается, что он восемь медведей убил. Наконец, во второй части первого символического сна Пилы, который он видит сразу же после принятия решения идти бурлачить, ему представляется, что он находит своих родных в подлиповском болоте медведем изгрызенных. Традиционно в мифологических представлениях медведь выступает как предок-родоначальник, тотем, хозяин нижнего космоса, а также звериный двойник человека, зооморфная ипостась его души. Эти представления в полной мере соответствуют мироощущению героев повести и, безусловно, учитываются авторским сознанием. Так, родоначальником подлиповцев, их «первопредком», был некий крестьянин-зверолов, который перессорился со своими однодеревцами (реализация образа одинокого медведя-шатуна). Когда Пила подозревает Сысойку в убийстве малолетних брата и сестры, тот обижается: «Што я медведь, што ли...?» Что касается образа медведя-убийцы из сна Пилы, то можно вспомнить, что образ медведя часто принимал злой дух коми-пермяков и черемисов Керемет, когда он искал свои жертвы. Во всех случаях медведь в мифологическом контексте повести играет роль хозяина той хтонической маргинальной зоны, которую образует Подлиповка и прилегающие к ней районы. «Медвежий» образ жизни ведут и ее обитатели.

В маргинальном мире Подлиповки даже традиционно позитивно маркированные предметы крестьянского интерьера, такие как печь и полаты, выступают в роли носителей смерти. Так, в печи погибают маленькие брат и сестра Сысойки, на полатах умирает его мать, страшный вид которой гонит Пилу на улицу, на мороз: «Ишшо загрызет, стерва».

Отправной точкой для начала нравственной эволюции героев в повести является трагическая гибель заживо погребенной Апроськи, дочери

Пилы и гражданской жены Сысойки. Ее смерть символизирует собой конец хтонической эпохи жизни героев, начало первой «человеческой инициации», гуманизации сознания героев по отношению к умершим, когда «дрогнули их сердца», «горе обоих велико было», «мир... казался тяжелым, невыносимым», «они думали: как жить теперь?».

Именно с этого момента в художественный мир повести входит мифологема дороги вначале как следствие утраты сознанием героев традиционной «подлиповоцентричности». Для месторазвития Подлиповки было характерно отсутствие образа дороги как таковой: «а дороги и след простыл», «дороги вовсе не видать», к церкви в селе «не было даже дороги проложено». После гибели Апроськи дорога приводит подлиповцев в город, где они в последний раз выступают в качестве носителей языческого, хтонического сознания. Одновременно с этим происходит вторая, уже социальная инициация героев, толчком к которой послужило пребывание Пилы и Сысойки в чижовке, когда «в продолжении месяца подлиповцы узнали больше, чем живши до этого времени». Дальнейшее развитие мифологемы дороги включает в себя мотив поиска пути к Чусовой, которая ассоциируется у героев с началом бурлачества. При этом, в соответствии с логикой мифологического понимания пути, дорога на Чусовую не воспринимается героями как прямой, кратчайший путь к намеченной цели. Это именно странствие, блуждание человеческого духа в поисках утерянного «золотого века» и «земли обетованной»: «шли они по большим и проселочным дорогам, узким тропкам, плутали по целым дням в незнакомых местностях». Не случайно в повести именно при характеристике пути на Чусовую появляется сравнение будущих бурлаков с евреями, которые шли за Моисеем по пустыне. Дорога на Чусовую оборачивается для героев «заколдованным кругом», когда движение ни вправо, ни влево, ни вперед не обеспечивает нахождения героями принципиально нового месторазвития, связанного с этносом и хронотопом реки Чусовой: «Тронулись по левой дороге. Пришли в деревню... Утром тронулись в путь по правой дороге. К вечеру пришли в эту же деревню», «Дорогу занесло снегом... Идут они час, все нет конца. «Что за черт?» – ворчат бурлаки. Их обуяла лень»; «Пошли опять бурлаки назад, отыскивая настоящий путь».

Мифологема Чусовой как второго важнейшего топоса на пути становления героев повести очень сложна по своей природе. В плане феномена месторазвития она тесно связана с миром легенд и преданий о Ермаке, «атамане разбойников», который «людей убивал, Сибирь в полон взял», имеющим общеуральский характер. Страх перед грозным атаманом, который «сидит, поди, теперь, смотрит шарами-то... как прынет камнем», характерен уже не только для подлиповцев, но и пермяков, вятичей, уроженцев вологодской губернии. Этот страх коррелирует в их сознании с той общей атмосферой тайны, которая окутывает образ Чусовой как верхнего космоса по сравнению с нижним хтоническим миром, в

котором до сих пор пребывали герои. Это страх связан теперь не с образом земли-убийцы Апроськи, но с образом далекого, непонятого неба, на которое никогда прежде не смотрели подлиповцы: «Здесь им казалось страшно: они боялись не медведей, а чего-то иного. Впереди, позади – кругом все горы, а сверху небо черное, а звезд не видеть». Топос Чусовой возникает в повести одновременно с началом нового природного цикла, весенним пробуждением природы, символически ассоциирующимся с надеждами бурлаков на новую счастливую жизнь: «... настало тепло. Солнышко греет», «они (бурлаки – *Е.П.*) теперь блаженствуют».

С другой стороны, в мифологическом отношении Чусовая (вместе с Камой) является типичным образом реки жизни и смерти и одновременно космической осью мира, соединяющей нижний и верхние миры сакральной топографии. Как река жизни Чусовая стимулирует жизненную активность героев повести, для которых строительство барок и их сплав по Чусовой и Каме до Перми превращается в настоящий праздник труда и надежд на лучшую жизнь, являющих собой поразительный контраст с их подлиповской зимней спячкой: «так и кипит работа... больно уж баская да чудная»; «Подлиповцы торжествовали. Они никогда не жилали в таком большом обществе людей своей братии»; «вечером стоит посмотреть на бурлаков, чего-то они не делают: и поют, и пляшут, и играют на гармонике». Такое изображение радостного труда бурлаков хотя и не противоречит горнозаводским преданиям о сплаве барок по Чусовой, тем не менее находится в некотором противоречии с некрасовской традицией изображения жизни бурлаков на Волге (см. стихотворение «На Волге»). Это различие во многом обусловлено разницей в характере труда волжских и чусовских бурлаков. Сплав барок по Чусовой требовал не только силы, упорства, тяжелого труда, но и ловкости, сноровки, готовности жертвовать своей жизнью ради спасения груза. Именно поэтому река жизни органично становится в повести и рекой смерти: причиной гибели двух бурлаков на пути в Пермь и причиной гибели самих главных героев повести на обратном пути домой. Что касается реки как космической оси мира, то для характеристики этого аспекта мифологической природы Чусовой (Камы) следует обратиться к мифологеме третьего топоса, к которому, собственно, и стремятся герои как к земле обетованной, к топосу Перми, который является для старшего поколения героев повести одновременно и сакральным и профанным центром мира.

Пермь с ее «большими домами», «прямыми улицами», «каретами», «телеграфными столбами», «хорошо одетыми людьми», безусловно, является уже общероссийским центром той материально счастливой и богатой жизни, к которой подсознательно стремятся герои повести. Интересно отметить, что с самого начала повествования счастливая жизнь отождествлялась подлиповцами преимущественно с богатством:

«богачество там», «бурлачество, бают, – хлеба много» Оказавшись в Перми, в этой земле обетованной, попробовав в первый раз мягкую белую пекарскую булку, увидев гуляющую по набережной богатую публику, услышав музыку, подлиповцы приходят к совершенно логичному для себя выводу: «Куда ни помотришь, везде хорошо. Вот бы пожить тут» Весенний ледоход Чусовой естественно сменяется летним «тихим, прекрасным вечером». С другой стороны, Пермь как центр материальной культуры так и не становится для подлиповцев подлинным городом их мечты по вполне прозаической причине отсутствия у героев денег, того «богачества», к которому они стремились, нанимаясь в бурлаки. В этом плане очень глубокая символика заложена в снах Сысойки, один из которых он видит после принятия решения идти в бурлаки, а второй – почти накануне своей гибели. Первый сон – пророчество о гибели семьи Пилы, которая безуспешно штурмует вершину горы (символика верхнего космоса – Пермь) и падает в пропасть, в принципе сбывается еще до окончания «пути вверх» основных героев повести. Второй сон Пилы символизирует собой разрушение мифологемы счастливого бурлачества как такового: гора хлеба, о которой так мечтал Пила, оказывается в воде, в печи – соляной варнице – оказывается Апроська, а под конец туда толкают и самого героя... В мифологических представлениях образ печи, горна, тигля традиционно связывается с материнским началом. Однако и в месторазвитии маргинальной Подлиповки, и в месторазвитии Чусовой (соляные печи Усоляя), и в месторазвитии Перми, где Пила видит свой пророческий сон, печь для старших героев повести оказывается символом смерти, символом непонятого им мира, с которым они не чувствуют кровнородственной материнской связи.

С этой точки зрения, существует огромная разница между старшим и молодым поколением подлиповцев, представленным образами сыновей Пилы Павлом и Иваном, которые становятся кочегарами на пароходе и для которых пароходная топка уже не синоним ада, но естественное олицетворение той рабочей жизни, которую они ведут.

Именно с образами младшего поколения подлиповцев связан феномен третьей, нравственно-этической инициации, которую Павел и Иван переживают в пермском соборе и которая оказывается недоступной для Пилы и Сысойки. Этой последней инициации предшествует проявление особого таланта юных героев повести в освоении социальной мудрости мира, начиная от постижения устройства насоса и кончая ощущением своей человеческой значимости и неповторимости, отличающей их от мира животных: «Свиньи-то эво какие! (имеются в виду Пила и Сысойка – *Е. П.*) А мы вона какие!» В отличие от старшего поколения подлиповцев бурлачество не привлекает Ивана и Павла как средство добычи богатства и хлеба. Вначале бурлачество становится для них средством попасть в «город баской» (Пермь – *Е. П.*) и там остаться. Однако еще до прибытия в Пермь они принимают решение поступить на пароход, то

есть приобщиться к той новой жизни, которая так и оказывается до конца не понятой их отцом.

Основное религиозно-нравственное просветление героев (своеобразный катарсис) происходит в соборе во время архиерейской службы, символизирующей для Павла и Ивана переход в мир совершенно иных, духовных ценностей жизни: «они, пожалуй, два дня простояли, если бы два дня шла архиерейская служба». Что касается Пилы и Сысойки, то, и оказавшись в соборе, они не могут выйти из рамок привычных бытовых жизненных определений: «Баско! Ай, баско!», совершить подлинное духовное восхождение к верхнему космосу бытия. Поэтому вполне закономерной и логичной выглядит, на первый взгляд, случайная гибель героев на обратном пути вверх по Чусовой, но фактически по дороге к нижнему космосу, оставленному героями в начале повествования. Движение по реке жизни, ставшей уже рекой смерти, происходит на фоне почти осеннего дождя, знаменующего собой одновременно завершение природного цикла и жизненного цикла бытия героев.

Что касается эпилога повести «Подлиповцы», то он выдержан Решетниковым в традициях демократической литературы 60-х годов XIX века. Отстав от бурлаков, дети Пилы приобщаются к новой сознательной рабочей жизни, они «очень развились и даже умеют читать». В финале повести мы видим их рассуждающими на такие злободневные темы, как «пошто же не все богаты». С точки зрения идеалов демократической литературы, это, безусловно, высшее проявление социально-нравственной эволюции героев.

Однако с учетом той мифологической модели бытия, реконструировать которую мы попытались выше, становится очевидно, что социально-демократические идеи Решетникова прочно основываются на архаических мифологических архетипах.

Примечания

1. Соловьев Е. Очерки по истории русской литературы XIX в. 3-е изд. СПб., 1907. С.305.
2. Проскурина Ю. М. Ф. М. Решетников // Литература Урала. Екатеринбург, 1988.

© Ю. М. Проскурина
Екатеринбург

ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ И ЭВОЛЮЦИИ РУССКОГО РЕАЛИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В современном литературоведении наблюдается пристальный интерес к вопросам методологии, приобретающим часто либо феноменологическую, либо лингвистическую ориентацию.

Подобное направление научного поиска естественно, поскольку в изменившихся исторических условиях возникает потребность пересмот-